

О.А. Балла

журнал «Знание — сила»

ПЕРМСКИЙ КРАЙ: МЕСТА ПАМЯТИ (ЗАМЕТКИ ПОЧТИ СЛУЧАЙНОГО ТУРИСТА)

В статье, на примере пространства Усолья, Всеволодо-Вильвы и Чердыни, предложена авторская типология мест памяти: руинизированное пространство; пространство воображения; «пространство памяти» в состоянии живой запущенности. Безусловно, типов пространственной исторической памяти великое множество и данная типология не является исчерпывающей.

Ключевые слова: *место памяти, пространство, руины, воображение, музей, Усолье, Всеволодо-Вильва, Чердынь.*

Balla O.A.

PERM REGION: MEMORY PLACES (notes of an almost random tourist)

In the article the author suggests his typology of memory places, using the spaces of Usolye, Vsevolodo-Vilva and Cherdyn: «ruined space», «imagination space», «memory space in condition of living neglect». Really, we have much more the types of spatial, historical memory, this typology is not exhaustive.

Keywords: *place of memory, space, ruins, imagination, museum, Usolye, Vsevolodo-Vilva, Cherdyn*

После самих себя: помнить пространством¹

Да, заметки будут очень субъективными. Может быть, они и вовсе не были бы написаны, не случись нашему корреспонденту (то есть мне) оказаться в мае этого года на конференции «Человек в ландшафте»², которую её разнодисциплинарные участники: географы, филологи, краеведы, музейные работники, сотрудники заповедников — проводили по одним лишь им ведомым соображениям в трёх разных поселениях Пермского края. Места были такие, сами имена которых нагружены избытком исторической памяти (что ни имя — то знак) — и все три очень разные. Это — города Усолье и Чердынь (колодцы памяти! — такой глубокой, что в своей глубине она соприкасается уже и с забвением) и маленький посёлок Всеволодо-Вильва.

Так вот, будучи увидены подряд, эти места упорно наводят на мысль о том, что существу-

ют разные типы исторического памятования пространством, — типы записи пережитой истории в теле пространства, слепков с неё, в которые пространство превращается. Их, разумеется, значительно больше трёх — Пермский же край даёт нам возможность рассмотреть и продумать по меньшей мере три осуществлённых в нём варианта. Усолье, Чердынь и Всеволодо-Вильву.

Города-музеи? Нет, не совсем так, — вернее, совсем не так. Это — именно места памяти: места, где прежнюю, гудевшую здесь жизнь помнит само пространство. Уже и люди забыли, а оно помнит. Своими формами, изгибами, пустотами. Помнит неравномерно, пристрастно, с забвениями и вытеснениями, с поздними торопливыми припоминаниями, — как человек.

Потому что оно живое. И, как всему живому, ему бывает больно, трудно, недостаточно.

Всё это — такие места, в которых — и уже довольно давно — больше прошлого, чем настоящего. Все они существуют в некотором смысле после самих себя: то есть, после активной, плодотворной фазы своего исторического существования. В тупике? На распутье?

Какими способами уложено в них прошлое, как оно переживается сейчас? — оно ведь может укладываться по-разному. — Так вот, кажется, что в Усолье оно существует в виде

© Балла О.Л., 2018

Балла (Гертман) Ольга Анатольевна, публицист, редактор отдела философии и культурологии журнала «Знание-Сила»
gertman@inbox.ru

¹ Первая публикация: Знание — Сила. — № 11. — 2015. = <http://znaniesila.livejournal.com/37098.html>

² Об этой конференции подробно на сайте журнала «Знание — сила»: Человек и его ландшафт: пермские диалоги // http://znanie-sila.su/?issue=zsrif/issue_194.html&r=1.

гаснувших рудиментов (время словно выжгло эту землю, она стоит испепелённая, почти изуродованная несчастной русской историей последнего столетия. В Чердыни прошлое уходит далеко вглубь, напоминая о себе отдельными следами на поверхности, вмятинами, изгибами. Во Всеволодо-Вильве оно по большей части воображается, а иногда — как разрушенный в своё время дом, в котором несколько месяцев 1916 года провёл Борис Пастернак — в буквальном смысле воссоздаётся заново. Оно почти невещественно, настоящих его следов — почти не найти. Оно разлито в воздухе.

Усолье: город-палимпсест

О Большом Прошлом, которое здесь было ещё пару веков назад, помнит скорее структура самого пространства с отдельными, если не сказать — рудиментарными, зданиями. Некоторые — прекрасные! — в состоянии остановленного разрушения, задержанной смерти, и выйдут ли они из него когда-нибудь?

Вообще место трагическое. Столь же сильное, сколь и трагическое.

Самый маленький город Пермского края.

Город, возникший — и стремительно — в XVII-XVIII веках, переживший недолгий стремительный расцвет вплоть до первого десятилетия века XIX-го. Это время определило лицо Усо́лья, оно живо там и сейчас: его там гораздо больше, чем XX и XXI столетий. Просто оно там не течёт, а (почти) стоит. Как вода в пруду.

Из исторического небытия Усолье вызвали купцы-солевары Строгановы — втянули эти места в активно становящуюся цивилизацию. Основанное в 1606 году на месте слободы с тем же именем как центр солеваренной промышленности, Новое Усолье до конца XVIII века (точнее, до 1771 г.) оставалось столицей Строгановых на Каме. Здесь были соляные скважины, завод по выварке соли — и огромная жизнь, которая росла вокруг всего этого. Строили много — промышленная архитектура, надёжный камень, крепкий кирпич. Дома и церкви — «строгановское барокко». Усолье называли «Венецией на Каме» — не за половодья, заливающие его каждую весну: за красоту.

Потом жизнь стала уходить. Она уходила долго, упорствуя, медля: ещё век спустя, в 1895-м, здесь было 40 соляных скважин.

В 1918-м большевики сделали Усолье городом (оно ведь и в лучшие свои времена оставалось селом!). Оно даже побывало некоторое время административным центром — новообразованного в 1923-м Верхне-Камского округа Уральской области. Нет, не помогло. Тем более, что окружной центр вскоре перенесли в Соликамск. История отвернулась от этих мест.

В 1949-м начали строить Камскую ГЭС. Большая часть города ушла под воду. Жителей переселили.

Город-текст многократно переписывался; в нём читаются — почти вслепую, почти по Брайлю — остатки прежних сообщений, поверх которых, увы, ничего по-настоящему исторически активного, исторически содержательного по сей день не написано.

От Усо́лья Строгановых осталось меньше, чем от залитых лавой Везувия Помпей. Русская история выжгла едва ли не всё, что смогла. Почти всё.

Пройдём по центру Старого Города — мимо коренных исторических зданий города, построенных в самые сильные его времена. По следам прежних цивилизационных устремлений, представлений, идеалов, сформировавших лицо этого пространства. Ни до, ни после Строгановых его ничто так властно не формировало.

Спасо-Преображенский собор — огромный, великолепный, держащий на себе всё это, много лет назад брошенное пространство. Стоит, необычно развернувшись: лицом к Каме, алтарём — к городу (когда-то в Усолье приезжали в основном по воде). Строили, разумеется, Строгановы: 1724-1731. Действующий. Вокруг — никого. Колокольня (1730) — мёртвая, начавшая крениться много лет назад, в состоянии законсервированного разрушения.

Торговые ряды, примыкающие к колокольне, 1832-1835 гг. Руина.

Дом Абамелек-Лазарева. Двухэтажное, каменное надёжное строение 1830-х убил пожар 1976 года. Руина.

Дом-правление Шувалова, начало XIX века. Руина.

Часовня Спаса Убруса — XVII век (1667? 1694? — данные расходятся). Старейшее здание Усо́лья. Памятник архитектуры федерального значения. Руина.

Церковь Владимирской Божьей матери (Рубежская), 1757-1791. Тоже «памятник архитектуры Российской Федерации». Руина.

Вот рядовая, «фоновая», функциональная, без малейших вроде бы эстетических претензий — но качественная, основательная застройка позапрошлого века. Полуразрушенный жилой дом, построенный в 1830-м, на нём табличка: «Охраняется государством» — охраняется, значит, в своём руинированном состоянии. Такие же полуразрушенные — тоже охраняющиеся государством — амбары 1810-го года. Дом священнослужителя 1880 года — его состояние заметно лучше, он, по меньшей мере, цел. Но тоже неживой.

Стоит — несколько в стороне от всего — Никольская церковь (1813-1820), классическая

русская церковь своего времени, последняя работа Андрея Воронихина (создатель Казанского собора в Санкт-Петербурге был из строгановских крепостных). Долгое время стоявшая разрушенной, теперь она восстановлена. Время от времени в ней проходят службы.

Усадьба князей Голицыных (1813-1818), типичный городской особняк второго десятилетия века — жива, несколько раз — начиная с 80-х — реставрировалась, теперь в ней музей — филиал Березниковского историко-художественного музея имени И.Ф. Коновалова.

Дом купца Брагина (XIX в.) — в прекрасном тонусе, отреставрирован, часть музея.

Красавец-дом — палаты Строгановых, бело-красные, как Спасо-Преображенский собор, строившиеся одновременно с ним (1724), теми же мастерами. Московское барокко. Самое заметное здание старого центра города. Сейчас — содержательный музей — Усольский историко-архитектурный, с энтузиастами-сотрудниками, с активной экспозиционной жизнью — экспозицию обновляют постоянно, устраивают выставки и инсталляции современных художников, — с исследовательской и издательской деятельностью. Светится в тихих усольских сумерках.

Вообще, самое яркое, жаркое, живое в сегодняшнем Усолье — музеи.

Но вокруг них — почти ничего, кроме медленной-медленной, сонной-сонной местной жизни, существующей на дальней окраине самой себя.

В Усолье сейчас нет даже гостиниц: оно не превратило свою память в туристический ресурс. Пока не превратило. Хотя в этом отношении не так уже мало делается — затеваются разные игры людей с пространством. Устраиваются народные календарные праздники, игровые занятия для детей, театрализованные экскурсии, свадебные обряды «Совет да любовь» с регистрацией молодоженов. В голицынской усадьбе постоянно проходят выставки березниковских и усольских художников.

Однако ничего сопоставимого по мощи, по плодотворности и жизненной силе на смену строгановскому Усолью не пришло.

С другого берега Камы дымят трубы Березниковского химического комбината. Тоже промышленная архитектура. Но какая, однако, разница.

Всеволодо-Вильва: Второе рождение. Место забвения, место припоминания

Всеволодо-Вильва — даже не город, а посёлок. Маленький — две с половиной тысячи человек — промышленный посёлок. Но точка памяти — очень интенсивная. И даже — многоточие.

История Всеволодо-Вильвы последнего столетия с небольшим — история обретения, утраты и нового нащупывания исторического и культурного бытия.

Борис Пастернак, будущий — и уже тогда интенсивно становящийся — большой поэт, по собственному — скорее всего, пристрастному и неточному, но тем не менее — свидетельству, осознал и принял себя как поэта именно там. И потом, спустя много лет он вспоминал и описывал эти места в «Докторе Живаго».

Прожив во Всеволодо-Вильве в молодости, всего несколько месяцев — с января по июнь 1916-го, он, неведомо для самого себя, задал маленькому уральскому посёлку направления будущей памяти. Связав это пространство с собой, выговорив его в стихах, Пастернак насытил его значениями, вывел его в большое культурное измерение. Переместил Всеволодо-Вильву с дальней периферии русской культуры заметно ближе к её центру (...тому самому, должно быть, который на самом деле — везде. Только надо уметь увидеть.).

К моменту поселения там Пастернака посёлок был совсем молод — всего 100 лет с небольшим. Основан в 1811-м Всеволодом Всеволодским с исключительно промышленными целями, без малейших культурных претензий. Железодельный завод, потом чугуноплавильный, потом кирпичный... — очень важно, конечно, но — чего прозаичнее? Став, почти случайно, пастернаковским контекстом, Всеволодо-Вильва, уже миновав к тому времени свой «железный расцвет», пройдя через полосу упадка, — вдруг стала обнаруживать ценность и важность своих «допастернаковских» содержаний.

Для этого, однако, ей пришлось ещё пройти через полосу забвения. Как бы заснуть — и проснуться.

Дело в том, что дом, в котором сейчас — смыслообразующий для посёлка музей Пастернака — был, как это эвфемистически называется, утрачен. Его, вполне типовое строение своего времени, отслужившее свой срок, попросту разрушили — по небрежению, за ненадобностью.

Совсем недавно, во второй половине 2000-х, дом был воссоздан — в точности, по старому проекту, вплоть до — насколько оказалось возможным — мельчайших деталей, со всем, какой удалось припомнить, реконструировать, вообразить, обиходом середины второго десятилетия XX века. В этом действительно есть что-то от воскресения из мёртвых.

И на веранде дома, совершенно как сто лет назад, на том же самом месте стоит венский стул (на сей раз — металлический и привинченный к полу), на котором только совсем уж равнодушный и ленивый посетитель не фото-

графируется в той же позе, в какой имел неосторожность сняться в 1916 году Борис Леонидович.

Телесное, так сказать, отождествление с классиком. История на ощупь.

Вдруг стало ясно, что тихая провинциальная Всеволодо-Вильва — не где-нибудь, а, как выразился один из важнейших толкователей пермского пространства Владимир Абашев, — «на перекрёстке русской культуры».

Примерно в то же, пастернаково время — на самом деле чуть раньше — через этот перекрёсток проходили пути ещё по крайней мере двух знаковых для русской культуры людей: Саввы Морозова и Антона Чехова. Да, ещё учёного-химика Бориса Збарского, который позже стал известен как бальзамировщик тела Ленина — именно в его семье, когда он работал здесь в качестве управляющего Всеволодо-Вильвенскими заводами, и провёл свои несколько знаковых уральских месяцев Борис Пастернак. Этого, младшего Бориса вспоминают в связи со Всеволодо-Вильвой куда чаще, — а, между прочим, в том же самом 1916-м «старший» из Борисов, Збарский, сделал здесь важнейшее открытие — разработал технологию производства наркотного хлороформа.

Заезжал сюда, кстати, путешествуя по Уралу летом 1875 года и Василий Немирович-Данченко — писатель и журналист, брат куда более запомнившегося потомкам Владимира; застал он там тогда, надо сказать, полную разруху, нищету и отчаяние.

Дело вскоре поправил Савва Тимофеевич Морозов — купивший в 1890-м бывшее имение Всеволодских и положивший там начало химической промышленности. И не только ей, но и культурной жизни посёлка: он сумел увлечь всеволодо-вильвенцев театром и даже организовал здесь самодеятельный театр.

У него-то и гостил в 1902 году Чехов — целых три дня. Даже школу в посёлке открывал, которую как раз к тому времени построили. По крайней мере, так рассказывают.

Память места — неравномерна. Прилично музеефицирован — и то очень не сразу — один Пастернак. Всё остальное (пока?) музейно не артикулировано. Не стало предметом музейной рефлексии.

На месте памяти о Всеволодских — провал. Они остались только в необычном, диковатом, скользющем, но сразу же накрепко запоминающемся имени посёлка. О Чехове помнит носящая его имя школа — построенная в шестидесятых, на месте той, деревянной, которую когда-то (может быть) открывал писатель, и гипсовый бюст около неё, и случайно обнаруженный им во время прогулки (это как раз совершенно достоверно) родник, который до

сих пор зовут «чеховским». О Савве Морозове — по существу, спасителе Всеволодо-Вильвы в 1890-х — помнит только Морозовский парк, да кедры, растущие четверицей, взглянув на которые, приехавший в Вильву старообрядец Савва сразу понял, что это добрый знак и его предприятие ждёт успех (кстати, так оно и оказалось). На месте дома Морозова с садом — пустое место. (Помнит его, правда, ещё и завод, бывший железоделательный и чугуноплавильный, при Морозове — химический; он действует, теперь он называется заводом «Метил».) На месте Ивакинского химического (пастернакова Варыкинского) завода — руины, выглядящие так, будто жизнь отсюда ушла несколько столетий назад. Стремительно врастающие в природу.

Зато в чеховской школе работает прекрасная детская гончарная мастерская.

Чердынь: тени прошлого, колодцы памяти

Бывшая столица Перми Великой живёт тихо-тихо. Это — место с памятью сильной, горькой и страшной. (Достаточно помнить, что Чердынь — первое место предпоследней ссылки Мандельштама, невыносимой для него, едва его не убившей, откуда он потом уехал в Воронеж, — и привкус смерти и чёрного страха всегда будет сопровождать само слово «Чердынь», сколько раз его ни произнеси). И вместе с тем, вопреки всему этому — с мощной красотой, с избыточными даже — на все века вперёд хватит — запасами гармонии, разлитой в воздухе, в огромных чердынских пространствах. такой, которая сильнее всего человеческого.

Языческая, хтоническая земля, крещенная в историческом масштабе совсем недавно — в XV веке, и то не с первого раза, с упорным и жестоким сопротивлением чердынцев. Суровая. Зато теперь в Чердыни — в качестве филиала краеведческого — существует музей истории веры. Понимаете, не религии как совокупности внешних признаков и действий, а веры. Жалко, не удалось туда попасть. Вполне возможно, что там — всё то же самое, что было бы и в музее истории религии, но какова сама постановка вопроса!

Чердынь — город с музейной рефлексией, качественной на редкость, с заботой о прошлом. Здесь — замечательный краеведческий музей с богатой экспозицией, который называют даже «краеведческим центром», а в нём — одна из самых больших коллекций искусства на Урале. В своём историческом облике он содержит коллекцию археологическую — с уникальными образчиками Пермского звериного стиля и восточного серебра VII-X веков, пермскую деревянную скульптуру, которая

представлена здесь работами местной «шакшерской школы»; нумизматическую, этнографическую; коллекцию икон. В здешнем книжном собрании — книги XVI-XX веков, среди них — редчайшие старопечатные и рукописные книги, образцы «крюкового» письма. Музей носит несколько неожиданное для здешних контекстов имя Пушкина, который, как известно, в Чердыни никогда не бывал (на самом деле, потому, что один из ставших его основой музеев — общеобразовательный — был открыт в 1899-м году в честь 100-летия со дня рождения Пушкина. В 1918 году он слился с другим чердынским музеем — археологическим). Теперь он занимает целых два здания; в обоих можно — и стоит — бродить целый день. Одно из них — бывшее здание Чердынской женской гимназии. Там, среди прочего, в подробностях воссоздан гимназический класс, а в другом зале — устроенная в бывшем классе во время Отечественной войны госпитальная палата, и в ней — нечто совсем уж небывалое: человек, лежащий на койке и играющий, как актёр, раненого солдата (поначалу живого экспоната пугаешься).

Но это — лишь частная, хотя и впечатляющая, форма чердынской памяти. Там памятно само пространство.

Самое удивительное: город за последний век не изменился почти совсем. За исключением отдельных деталей, он — такой, каким увидел его Мандельштам в окаянном начале тридцатых.

Там по сей день цела — и имеет точно тот же вид, что и восемьдесят лет назад — больница, из окна которой прыгал, надеясь умереть, полубезумный поэт. Не мемориальная — действующая. (Мемориальная доска, правда, висит.)

Нет, город не вылизан, не мумифицирован, не законсервирован в каком бы то ни было из своих прежних состояний, принятом как наиболее ценное. Он — в состоянии нормальной (для катастрофического XX века), живой запущенности. Старые дома, жилые и казённые, не раз переделывались по ходу текущих надобностей; в основной своей массе они давно — иные слишком давно — не видели ремонта. В Богоявленской церкви — хлебозавод. В Воскресенском соборе — клуб. Но там нет руин. Там всё живое.